

О.И. Киянская, Д.М. Фельдман

Яков Бельский – писатель, журналист и художник*

С.З. Луцик в комментарии к повести Валентина Катаева «Уже написан Вертер» утверждал: «В одной из многих устных легенд, бытовавших в Одессе после гражданской войны вплоть до 80-х годов, рассказывалось, что В. Катаев, который был арестован как белый офицер, ожидал расстрела, но его спас кто-то из чекистов, причастный к литературным кругам»**. Сам Катаев в устных выступлениях неоднократно называл имя своего спасителя – Яков Бельский.

В начале XXI в. некоторые сведения о Якове Бельском привел в мемуарах сын Катаева – П.В. Катаев: «На очередном допросе его узнает один из чекистов (фамилия известна), завсегдатай поэтических вечеров, в которых в числе прочих одесских знаменитостей (их имена так же хорошо известны) всегда участвовал молодой и революционно настроенный поэт Валентин Катаев.

Это не враг, его можно не расстреливать.

И отец оказывается на свободе.

Чекист, спасший жизнь молодого одесского поэта, Яков Бельский»***.

* * *

Биографию этого человека удалось восстановить – на основании архивных документов и материалов периодики. Его настоящая фамилия была Биленкин. Из метрических книг одесского

* Работа написана при поддержке Программы стратегического развития РГГУ.

** Катаев В.П. Уже написан Вертер; Луцик С.З. Реальный комментарий к повести. – Одесса: Optimum, 1999, с. 81.

*** Катаев П.В. Доктор велел мадеру пить...: книга об отце. – М.: Аграф, 2006, с. 34-35.

раввината следует, что Яков Биленкин родился в Одессе 8 августа 1897 г.****.

Отец будущего чекиста умер, когда сыну было 10 лет; с этого момента содержал его старший брат. В 14 лет Яков Биленкин поступил в Одесское художественное училище, где учился на техника-архитектора.

В 1917 г. он получил среднее образование и был призван в армию. Попав под влияние большевиков, он вскоре дезертировал с фронта и вернулся в Одессу.

В составе Красной гвардии Биленкин участвовал в январских событиях 1918 г., затем «скитался по разным местечкам, перепробовав все профессии», весной 1919 г. служил в одесском губисполкоме – в должности художника, заведующим при этом и художественной секцией местного агитпропа.

В мае 1919 г. он вступил в РКП(б) и стал служить – под псевдонимом Бельский – разведчиком губернского особого отдела. Отдел подчинялся военным властям Одессы и выполнял контрразведывательные функции. После прихода в Одессу денкинцев несколько месяцев был в подполье, а после окончательного установления советской власти начал службу в Одесской ЧК. Его оперативный псевдоним стал частью фамилии.

В ЧК Яков Бельский-Биленкин быстро сделал карьеру: последовательно служил разведчиком, помощником уполномоченного по борьбе с контрреволюцией, начальником губернской разведки, уполномоченным по борьбе с контрреволюцией. В 1920 году он действительно использовал свое влияние в ЧК, для того чтобы освободить из тюрьмы Валентина Катаева – которого, очевидно, знал еще с юности, на почве общего интереса к литературе.

В 1922 г. он из ЧК уволился и стал журналистом.

* * *

С января 1923 г. местом его работы стала газета «Красный Николаев», издававшаяся николаевской партийной организацией. В июле 1923 г. Бельский стал ответственным редактором газеты, исполняя при этом и обязанности ее главного художника. В августе этого же года в Николаев приехал Эдуард Багрицкий; события, связанные с пребыванием

**** Метрическая книга о рождении Одесского раввината на 1897 г. // Государственный архив Одесской области (ГАОО), ф. 35, оп. 5, д. 83, л. 263.

поэта в этом городе, впоследствии легли в основу очерка Бельского «Эдуард в Николаеве»*.

В ноябре 1923 г., после отъезда Багрицкого, Бельский потерял пост редактора и стал заместителем редактора газеты. На этой должности он работал до января 1925 г., одновременно редактируя журнал «Бурав» – литературное приложение к «Красному Николаеву». В связи с разразившимся в Николаеве «дымовским делом» – фальсифицированным политическим процессом, в ходе которого были приговорены к расстрелу ни в чем не виноватые коммунисты, – он был вынужден переехать в Харьков.

В Харькове он стал заместителем редактора русскоязычной газеты «Пролетарий», печатался в иллюстрированном журнале «Пламя», редактировал сатирический журнал «Гаврило». Оба журнала были приложениями к «Пролетарию».

Затем, после закрытия приложений «Пролетария», Бельский перешел в партийную газету «Коммунист», в которой был художником и заведовал отделом международной информации. Кроме того, он сотрудничал как автор карикатур и фельетонов в сатирическом журнале «Червоний перець».

С января 1931 г. Бельский жил в Москве, где работал заместителем редактора сатирического журнала «Крокодил». Однако в результате партийной интриги и доносов на Бельского и его коллег журнал был в 1934 г. реформирован, а все члены его редколлегии – уволены. В 1934-1936 гг. Бельский работал рядовым журналистом в газете «Вечерняя Москва».

26 июля 1937 г. журналист был арестован, а 5 ноября расстрелян. Реабилитирован он был только в 1990 г.

* * *

Литературное и журналистское наследие Бельского обширно. Это и многочисленные статьи в периодике, и публиковавшиеся в газетах стихи, и художественные произведения: повесть и рассказы. Кроме того, в газете «Красный Николаев» в 1923-1924 гг. печатался его роман «В пламени борьбы», посвященный установлению советской власти в Одессе, Николаеве и Киеве.

Публикуемые ниже несколько рассказов и журналистских текстов Бельского дают возможность увидеть его творческую эволюцию.

* Бельский Я.М. Эдуард в Николаеве // Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников. – М.: Советский писатель, 1973, с. 130-138.

* * *

Полная версия статьи, посвященной жизни и творчеству Якова Бельского, в настоящее время готовится к выходу в сборнике Государственного литературного музея «Дом князя Гагарина».

Яков Бельский

Рождественское без елки

– Древний наш род... – говорил Васька остальной шатии. – От самого Рождества Христова до сегодняшнего дня про нас пишут и говорят. Каждый год в газете: в этот самый день, есть такое окно, трещит мороз, звезды блещут, в окне елка и буржуи кругом, а наш брат, беспризорный, под им тихо замерзает.

Взяв у 8-летнего Сашки бычок и втянув худые ноги в то, что некогда называлось скверными остатками низкосортных брюк (а ныне об этом догадаться было нельзя), Васька, 14-летний «зверь», продолжал:

– Тихо, значит, замерзает и плачет себе от досады, что подшамать нельзя и покурить. Теперь времена не те, не видать уже ни елки, ни буржуйских детей вокруг, а только наш брат остался. Вот об ем и пишут в газетах. Чтоб не холод такой – прям почет и никаких двадцать. А ты, Катька, уже весь бурбон сшамала.

И, прыгнув, как Чарли Чаплин в картине «Женюсь», Васька овладел заслюнявленной коркой.

– Вот об ем и пишут в газетах.

* * *

Мороз все крепчал и крепчал.

Под гнилым деревянным прилавком базара Васька доходил до высшей точки рассказа.

– И иду, и вижу двор, и тепло, как летом на берегу реки, а посреди старик с большой седой бородой ходит; я ему по-нашимски: «дядь, а дядь, дай ку-у-усочек хлеба...».

Он за хлебом, а я цап рубаху с каната, и в ворота, и прямо на чудачку...

Сашка сплюнул в сторону, через зубы – «тцдыкнул», а Катька вздрогнула. Васька нарочито почесывался, чтоб на нервах поиграть...

– Ну а дальше?..

– Ну, значит, на чудачку наскочил, а там...

Кончить не пришлось. Кто-то злобно стучал палкой по лавке и приговаривал:

– Я вам покажу, шандрапа, белье красть...

Юркнули в дырку Васька, Сашка, Катька – и исчезли.

* * *

Вот об ем и пишут в газетах.

Красный Николаев. 1923, 19 июля, № 890, с. 3

Гибель Мартына Ивановича

Мартын Иванович в революцию попал случайно. Родился он очень далеко от наших беспокойных краев. Свои маленькие быстрые глаза он впервые открыл на высокой и крутой Гибралтарской скале.

Там, цепляясь за ветки дикого винограда и разоряя птичьи гнезда, на недосягаемой высоте всегда жили его родные и предки. Когда Мартыну исполнилось два года, он вполне овладел наукой своего племени и перенял от старших ненависть к двуногим чудовищам, обитавшим на широком взгорье в каменных клетках.

Мартын знал, что они опасны, что они уведят навеки его братьев и сестер. Эти большие звери в тряпках отравляли жизнь обитателям крутых склонов Гибралтара. И все же однажды, несмотря на весь опыт беспокойной жизни, Мартын попал хвостом и увяз в твердом и крепком капкане. Потом пришли уроды в тряпках и посадили его в клетку.

* * *

Кастаки был хорошим цыганом, но плохим дрессировщиком. Соединяя воедино эти два обстоятельства, он бродил по земному шару не хуже любого Ливингстона, но никому не сообщал о своих изысканиях. Он часто менял профессию, но его любимым делом было красть

хороших крутобоких лошадей. По этой простой причине у него вместо правого глаза была впадина, а на левой руке на хватало двух пальцев.

Что можно обойтись и без них, он узнал в далекой России, но там же понял, что это все, от чего он может отказаться в дальнейшей жизни.

От племени своего он оторвался давно, и где была его родина – не знал.

В береговой таверне «Севилья» он купил у смуглого Азры мартышку и, обмотав ее тонкую кисть крученым английским шпагатом, старался отучить от всех старых привычек.

Свои скудные словесные аргументы Кастаки подкреплял пинками, и на исходе третьей недели Мартын умел танцевать. Может быть, его расположила к себе физиономия цыгана, ибо он больше всех двуногих напоминал лицом его родичей. Мартын примирился и без возражений сидел на плече Кастаки, и мерно покачивался в такт его торопливым шагам, когда тот двинулся вглубь европейского континента в качестве дрессировщика.

Впрочем, оба одинаково не знали, куда лежит им путь, и так добрались до Украины.

* * *

Кастаки не любил стрельбы, не любил крови и боялся мертвых. Он мог спокойно пырнуть кого-нибудь ножом, и этот зарезанный был бы не страшен, но другие, чужие мертвецы нагоняли на него мистический страх.

Когда в городах загрохотали пулеметы, позакрывались магазины и лавки, а по улицам валялись неубранные трупы, он пошел бродить по деревням.

Конокрад смутно слышал о том, что революция, но что это, он не понимал, а знать не хотел. Шел он проселочными дорогами и полями, показывая фокусы, мелко воруя, где не нравилось его искусство, и питаясь чем попало.

Где было трудно самому, там орудовал Мартын, и оба честно делили добычу. Сидя на косом угловатом плече, обезьяна всматривалась в дорожную пыль, и так же привыкла к бараньей шапке Кастаки, как к ползучему винограду Гибралтарских утесов, о которых, кстати, давно забыла.

Возле какого-то небольшого города Кастаки набрел на лагерь вооруженных людей.

Где-то в стороне тукали выстрелы, а из толпы оборванных воинов торчали ржавые пулеметные пупы.

На изодранных бушлатах висели красные банты – и резкими пятнами сверкали на сером фоне железа и грязи.

Зловеще глядели глаза из-под тяжелых папах, и когда кто-то из них сказал: «стой, цыганская рожа», Кастаки замер на месте. От неожиданной остановки Мартын качнулся вперед и, спрыгнув на землю, стал сосредоточенно изучать окружающую обстановку.

Громкий хохот прокатился по черным рядам:

– А ну покажь, Ваня, что твоя обезана может...

И Кастаки начал демонстрировать искусство верного Мартына.

* * *

Мишка Синяков хлопнул Никифора по плечу, выплюнул из коричневого рта остаток газеты, пакли и махры.

– А знаешь, Никифор, эта зверюка нам в самый раз, она подымет дух бригады, гляди как смеются.

Мартын бегал по рядам на задних лапах, крепко сжимая в передних шапку Кастаки, куда партизаны сыпали щедрой рукой замусоленные бумажки, на которые нельзя было ничего купить.

– Сколько тебе дать за нее, Ванюша? – спросил Никифор. – Потому как выгодно продать можешь для необходимого нам дела.

Кастаки перестал понимать русский язык. Его нижняя губа вылезла вперед и приподнялась вверх, по направлению к носу, блестящие угольки глаз скрылись в запыленных расщелинах ресниц.

Никифор продолжал:

– Потому как даем тебе 200 карбованцев, так другого покупателя не найдешь, а если не продашь, так даром возьмем. И выбирай, что лучше, а что хуже, умная голова.

Умная голова попробовала плакать, но этого не заметил никто, даже верный Мартын.

Получив 200 карбованцев рваными украинками, Кастаки пошел дальше по земле терять остальные пальцы и последний глаз.

Так как с точки зрения партизан каждый цыган был безусловно Ваня, обезьяну окрестили Мартыном Ивановичем и записали во 2-й пулеметный взвод.

За полгода Мартын крепко привязался к кавалеристам – и за-был про баранью шапку Кастаки.

Попали ребята как-то в кольцо. Бывало в те времена. С севера и востока нажимали белые, с запада наседали Петлюра и Махно, а с юга – немецкие колонисты. Приходилось туго. По целым дням сидел Мартын у пулемета и, когда замечал острым взглядом вражескую цепь, начинал цепкими пальцами теревить пулеметную ленту. Когда пулемет стрекочет, Мартын подает и подает, чтобы больше стреляли.

* * *

Урсулов быстро отступал на юг, к Вознесенску, теснимый превосходящими силами белых. Впереди конных цепей мчался автомобиль с пулеметом на радиаторе. У щитка сидел Мартын и неустанно подавал ленту. Была поздняя осень, и дул пронзительный ветер.

Машина ныряла в дорожные лужи и упорно неслась мимо серых, измученных гражданской войной деревушек. В свинцовое небо вздымались кучи испуганного жирного воронья. Мартын не привык к холоду и ветру и сильно простудился.

– Надоть его в больницу, – сказал Никифор. – Может, там его вылечат. И сказать при том доктору, что или-или.

А вечером полк, оставив город, отступал дальше.

В глубоком мраке с одной стороны уходили части Урсула, с другой – вступали «волчата» Шкуро.

Где-то у реки шла перестрелка, кто-то в городе вытягивал из сарая портреты царя и трехцветные лоскуты. Вознесенск пробовал дыхнуть черным дыхом контрреволюции, поднимался другим, помятым боком.

На рассвете по окраинам громили еврейские лавки, в центре на базарной площади валялись трупы с рассеченными головами, а во дворе больницы несколько пьяных юнкеров расстреливали раненных партизан.

– А это что за стерва? – кто-то указал на Мартына, лежавшего в углу на куче тряпья.

– Это урсуловский пулеметчик, тоже красная сволочь, бери и ее...

Совсем не знал Мартын, за что его расстреляли в это пасмурное осеннее утро. Может быть, выздоровев, он так же верно служил бы белым юнкерам и подавал бы им ленты к пулеметам. Но «волчата» хотели вырубить революцию с корнем – и убили обезьяну.

Как бы то ни было, а Мартын Иванович был расстрелян белыми за большевизм.

Бурав. 1924, № 10, с. 2-4

Атаман Семен Заболотный

Из прошлого украинской контрреволюции

Откуда и как пошло

От Одессы до Балты, по левому берегу Днестра и в местечках Южной Подолии жители помнят тягучее и зыбкое, как туман, имя – Заболотный.

Его хорошо помнит еврейская нищета этих краев, сотни сирот, вдов и калек.

Груды развалин на улицах Балты, с обгорелыми остатками оклеенных обоями стен, пустые и черные, как глазницы черепа, окна – все это следы лихих казацких набегов, память, оставшаяся жителям о Семене Заболотном.

В 15-ти верстах отсюда, в селе Обжила, он родился. Вырос высоким и крепким, как скала, с большой головой и глубоко сидящими смолисто-черными глазами. Толстые чувственные губы, тяжелая челюсть и большой кремнистый кулак.

Семен был весь от земли, от липкого и густого чернозема Балтщины.

Этот человек, ставший атаманом банды, мог бы спокойно всю жизнь орать землю дедовской сохой.

Там, под Балтой, он имел в отряде до 500 сабель и там же остался втроем: с палачом банды Фотием Раком и Федюней.

Эти оба не покинули Семена до последней минуты и вместе с ним попали в загадочные и страшные для них руки ЧК.

Вокруг Балты расположены небольшие леса: Мошнягский, Лесничевский, Барщанский и Кишевская Дача. Там бродил Заболотный со своими казаками по ночам, только днем отдыхая в квартирах своих приверженцев – кулаков.

Не было для Семена закрытых дверей. В любой кулацкой хате, у каждого попа для него была готова теплая перина, сытый ужин и даже сама попадья. Так, в горьком раздумье, нередко почесывал свою рыжую бороденку Тимковский, батя Рыжиков и многие другие. Но не Семену можно было возражать...

– По ночам делать переходы не меньше 60-ти верст, – говорилось в закордонных инструкциях, – спать только днем.

И быстро передвигалась банда ночью по дорогам, в сумерки по лесам, убивая одиночных коммунистов, продработников, председсельреврокомов, изредка нападая на маленькие красноармейские отряды.

Допрашивал сам Семен, убивал Фотий. Медленно и спокойно сначала вырезывали на груди звезду, выкалывали глаза, а потом стреляли из «утынка» в голову или давали «сашкой» по шее.

Раньше Семен дрался вместе с красными партизанами против гетмана, а потом пошел сам против Советов. Авторитет у мужиков он имел большой. Все видели, как он с фронта приехал с красной ленточкой, помнили, как бил гетманскую варту, а тут спасает от продразверстки и «жидовской коммунии». И шли за Семеном, куда вел, и делали, что прикажет.

Пилили длинные стволы винтовок, переделывая в обрезы, по-местному в «утынки», через плечо, на веревках вешали ржавые шашки без ножен, а начальный люд привинчивал к тяжелым и неуклюжим мужицким сапогам длинные, громко звенящие шпоры. Кулачье поставляло лихих коней и тачанки, а остальное доставляли постепенно, промышляя разбоем на лесных тропинках и убивая одиночных красноармейцев. Завелись в банде пулеметы, наганы и гранаты.

Занятая на фронтах Красная армия мало тревожила Семена, и банда быстро росла. Но кончились фронты, появились истребительные отряды, кавалерия ВОХРа и агентура ЧК. С пойманными казаками Семена не церемонились; банду сжали в кольцо, загнали в леса, и началось все по-новому.

Перестали бандиты спать по деревням, вырыли землянки на Кишевской Даче, отдыхали на прогалинах Лесничевки, а к городу подходить не рисковали.

Уже не сотнями считал Семен своих казаков, а десятками. Одели бандиты высокие «буденовки», и только по длинным гривам и хвостам можно было с трудом отличить их от красной кавалерии.

«Наднестрянская бригада» Гуляй-Беды

Пан Петлюра готовил очередной «сокрушительный» удар власти Советов. Были образованы две группы. Начальником юго-западной был генерал-хорунжий Гулый-Гуленко. Порешили использовать Семена для организации повстанчества и прислали к нему для связи атамана Гуляй-Беду (Михайлу Чеховича).

Этот стройный и храбрый юноша за свой короткий век заслужил доверие высшего командования, так как оказался талантливым организатором еврейских погромов и был удачно использован в этой области в Гайсине и Летичеве. На нашу территорию Гуляй-Беда перебрался в полном петлюровском офицерском мундире, имея два нагана, выданные сигуранцей, с новенькими патронами, сделанными теми же любезными покровителями; тук инструкций, несколько «универсалов» и традиционный обрез. Все это висело на нем под простой крестьянской свиткой. Если Семен летал с места на место, Гуляй-Беда носился, как дух, нигде не оставляя следов.

По заданиям генерал-хорунжего он создавал подпольную «наднестрянскую бригаду», командиром которой был назначен Заболотный, а сам Гуляй-Беда начальником штаба.

Гуляй-Беда был отличным организатором, и во многих крупных центрах Украины сумел создать в короткий срок ячейки из самостийнически настроенной интеллигенции.

Каждая деревня в зависимости от величины давала взвод или роту. Кадра в бригаде не было, но были в изобилии куцаки, гранаты и шашки, литература, и достаточно было одного сигнала, чтобы поднять восстание сразу в нескольких уездах.

Кулачье знало имя Заболотного и было готово пойти за ним на решительный бой с «коммунией».

Гулый-Гуленко рассчитал правильно. Организатором он послал Чеховича, который и был в действительности душой всего движения. Заболотный же был использован как вывеска, как фирма, заслужившая прочное и достаточное доверие кулачья.

Но... раз ночью на хуторе Плоть, верстах в пяти от местечка Крутые, Гуляй-Беда сдался вместе с двумя румынскими шпиками.

Как пришел в офицерском мундире, так и спрыгнул с чердака, где нашел свою последнюю автономную обитель. Он спокойно осведомился, есть ли здесь представители от Губ. ЧК; ему ответили, что для его ареста особых полномочий не требуется, но, кстати, интересующие его «чины» имеются в наличии.

Гуляй-Беда отдал свои два нагана с румынскими патронами, обрез и увесистый тюк инструкций. Два шпики последовали его примеру. Остальной жизненный путь Гуляй-Беды был очень короток, и карьеры ему сделать не пришлось.

Последние скитания

Балтская УЧК разгромила «наднестрянскую бригаду», на корню захватив поголовно всех участников, но Семену Заболотному снова удалось ускользнуть. С этих пор он бродил по лесам с Фотием Раком и Федюней втроем.

Лежа у небольшого костра, три друга витали в мечтах и чутко прислушивались к каждому звуку, чтобы не попасться врасплох.

Как следопыты Купера, приникали Фотий или Семен ухом к сырой земле и на далеком расстоянии узнавали конский топот и равномерный шаг пехоты. Но вовсе не нужно было приникать к земле и ловить острым слухом лесные шорохи. Опасность пришла не оттуда.

Если над спящим Семеном подымался наган с предательской целью, он быстро просыпался, – точно видел во сне как наяву. Если Семен не слышал, значит – чуял. Долгие скитания по лесам сделали его походим на коренного обитателя чащи – зверя.

Как бандитская лошадь научилась бегать карьером в лесной чаще, так и Семен научился чуять и быть осторожным, как волк.

Его захватили ночью в хате кулака, в селе Фернатти, вместе с Фотием и Федюней.

Все трое покорно отдали свои наганы и обрезы; и канули во мрак истории и лесные казаки Семена, и обрезы под Балтой, и планы генерал-хорунжего Гулого-Гуленки.

Кто-то спросил Семена:

– А что, Заболотный, вы слышали про меня?

– За вас я чув, – сказал он, – но навіть ви й за мене трохи чули...

Развалины улиц в Балте, обгорелые камни стен – все, что осталось от Семена Заболотного.

На Рыбной улице, в нагорной части Балты, есть старый лавочник Зельман. Летом он продает мороженое и нюхательный табак. Если вы спросите, слышал ли он про Заболотного, Зельман покажет правую руку без трех пальцев, карточку убитого сына, комсомольца, и дочери, сошедшей с ума от позора.

Зельмана больше не уважают старики, – в те дни он потерял веру в бога и не кладет свой тфилен*.

А может быть, его нет уже там, и лавка не существует, задавленная каким-нибудь губительным ларьком.

Пламя. Харьков, 1925, № 6 (26), с. 16

Невідомий обідає

В зразковій їдальні була тиша.

Двоє офіціантів грали в шашки, решта – жартували з убиральницею.

Касирша закрила «вовчок» шторкою і так захопилась романом Олівії Уедслі, що забула все на світі.

В кухні старий кухар Матроненко робив доповідь на тему: «Завдання громадськості й народне харчування».

Він, мабуть, слабкувато підготувався до доповіді і більше напирив на те, як готувати «свинячі отбивні».

Декілька куховарок і чотири помічники уважно слухали. Сам зав сидів у куточку й, покірливо переносючи «громадське навантаження», теж уважно слухав.

Доповідь закінчилась, запитань не було, і всі розійшлись.

* Еврейский обряд – прим. в тексте.

Матроненко запакував оселедці в газету і передав пакунок своєму синкові.

– Все'дно, – сказав він помічникові Іванову, – відвідувачі на-вряд чи будуть їсти, форшмак рідко хто замовляє, а вдома оселе-дець – він завсігди згодиться.

– Згодиться – це, дійсно, правильно, – відповів помкухаря Іванов, – але ви здря мені півдесяточка не відкинули.

– Ти – пацан, – загудів Матросенко, – за такі слова я тебе раз-два на судомойку «видвину»!

– Свины товстоморда, доклади читає, а оселедці краде!

Кухар загрозливо підняв сковороду і пішов у наступ на помічника.

В цей час до їдальні зайшов відвідувач. Він нерішучо постукав у віконце каси і чекав. Гама переживань на обличчі касирші більш відносилась до роману Уедслі, ніж до стуку відвідувача.

– Станьте в чергу! – нарешті крикнула касирша.

– Я тут один, – сказав відвідувач.

– Все рівно: не порушуйте порядку, ставайте першим.

– Дайте форшмак, – сказав відвідувач, – борщ, котлети і каву.

За кілька хвилин відвідувач сидів за столиком і передавав та-лони офіціантові.

– Форшмак, борщ, котлети і кава! – крикнув офіціант у віконце до кухні.

Це трапилось якраз тоді, коли кухар загрожував сковородою помічникові.

– Форшмак, – крикнув Матроненко. – Живо!

– З чого? – запитав Іванов. – Оселедці додому попливли!

– Нічого! В помійниці є вчорашні головки і «унутреності». До-дати трохи лушпиння з картоплі і яблуко – з'їсть!

Помкухаря дістав з помойниці десяток головок оселедців, луш-пиння, якісь підозрілі кишки й пропустив усе через м'ясорубку.

– Полій оцетом і поклади кусочек буряка – з'їсть!

«Форшмак» поїхав до споживача.

– Ну як? – спитав Матроненко.

– Жере... Ще й як! – відповів Іванов, зазираючи у віконце.

– Швидче давай борщу, а то ще перекинеться, стерво, від форшмаку.

– Борщ ще не готовий і солі немає.
– Не треба солі. Вкинь туди пачку «Глорії». Після форшмаку вона якраз до смаку...
Коли все було пророблено, помкухар крикнул:
– Ђсть! Один борщ!
Борщ поїхав до споживача.
Уже вся кухня дивилась у вікно, а невідомий їв собі та їв.
– Ще живий, – дивувався Матроненко. – Ну й клієнт же пішов тепер! Ще – чого доброго – паркетом закусювати почне.
– Оце номер! – реготали помічники.
Невідомий випив каву, поїв котлети з баранячих кишок і підвівся.
– Живий, – зашепотіли всі. – Живий...
Навіть касирша покинула Уедслі і дивилась на дивну людину.
Всі повиходили з кухні.
– Пробачте, – сказав зав, підходячи до невідомого. – Пробачте, як ви себе почуваете?
– Нічого. Прекрасно.
– А де раніш обїдали? В яких їдальнях?
– Завжди в їдальнях ХЦРК, ось уже декілька років обїдаю.
Подвійна користь – і обїдаю, і тренуюсь.
– Як? – вирячив очі зав.
– Бачите: я «людина-штраус». Приходьте увечері до цирку – я там виступаю. Я поїдаю щовечора два фунти битого скла, випиваю дві кварта нафти, ковтаю півдюжини ножів і виделок... Дуже вам вдячний. Після сьогоднішнього обїду я з'їм увечері два стільці, комод і поставлю світовий рекорд. Заходьте, будь ласка!..

Червоний перець. 1930, № 1, январь, с. 5

Шепетовские темпы

– Так уже, пожалуй, проведи. Там пустяки, мобилизуй бригад двадцать, тридцать, человек по шесть – и пошли!.. – звонил секретарь парткома председателю профсовета...

– Это по поводу чего, собственно? А, перевыборы советов, вот это верно. Значит, кампания уже началась? Ладно, темпы возьмем!

Через минуту предрика звонил по телефону к предпросвета:

– Ты что, понимаешь?.. Разворачивать надо, а то в газетах покروют. Человек по шесть, штук двадцать, тридцать мобилизни и посылай в села!

– Добре! Пошлем. Сейчас сделаем. Не подкачаем, темпы будут...

Предпросвета позвонил секретарю:

– Там без всяких антимоний, за счет производства – и в два счета на места. Штук двадцать, тридцать, человек по шесть...

Секретарь позвал деловода и сделал ему нахлобучку.

– Предвидеть надо было, – сказал он, – в чиновников превратились, в бумажках тонете, а жизни не замечаете. Сейчас же по всем завкомам телефонограммы передайте, чтоб ехали на села...

Деловод, человек многосемейный и тихий, лишних вопросов начальству не задавал. Он почесал затылок, откашлялся и пошел диктовать телефонограмму. Она была сжатой и ясной: «Предзавкома. ...По постановлению райпрофсовета мобилизуйте одну бригаду из шести человек для посылки на село... С подлинным верно: деловод Охрименко. Исх. №».

Вечером по всем шепетовским дорогам скрипели полозья, тренькали гармошки и звенели балалайки. Десять рабочих бригад поехали на село.

* * *

– А для чего, собственно, едем? – спрашивали друг друга в санях...

– А кто его знает...

– А зачем, работать, что ли?

– Да вот не сказали зачем, темпы, говорят. Сперва на места приедете, а там циркуляром инструкцию вышлем, чтобы все чинчином было, а то, сказали, пока напишут, нечего тут зря баклуши бить, время терять. Пока доедете, и составят отношение.

– А куда ехать-то, известно?

– Тоже не сказали. Это, мол, сами нащупайте, самодеятельность масс проявляйте, деревень много...

– А кто за старшего назначен?

– Я и назначен, а что делать, – толком не расспросил. Да мне-то что! Мне утром в амбулаторию надо, на прививку, болен я...

– Как же быть?..

– Да как быть?.. Еще килов с десять проеду, под гармошку оно веселее, и дома в аккурат буду...

Кто-то юркнул из саней в темноту, другой, третий. Гармошка замирала вдали... Кучер захрапел на облучке, а лошаденка затрусила мелкой рысцей в город, не желая будить уставшего хозяина.

* * *

На следующий день предпрофсовета сообщил секретарю парткома, что мобилизация проведена.

– Значит, можно телеграфировать в центр?

– А как же! Цифры вот: десять бригад по шесть человек, с музыкой... Комар носа не подточит...

* * *

А через неделю в Н-ском сельсовете читали длинную инструкцию для рабочих бригад по перевыборам советов.

– Должно, перевыборы будут, – сказал председатель, – не пойму только, про какие бригады речь идет?..

– Завсегда эти инструкции с хитростью, – задумчиво произнес секретарь, – должно, бригады-то против французов мобилизуют, сказывают, поляк воевать хочет...

Крокодил. М., 1931, № 1, январь, с. 6

Приказ императора

Остатки французской армии, разгромленной под Лейпцигом, в беспорядке отступали. По дорогам, размытым осенними дождями, двигались бесконечные обозы, лазаретные повозки, артиллерия и толпы утомленных солдат. Они шли как попало, не под своими знаменами, непрерывно подвергаясь нападениям с флангов и с тыла, где неожиданно начинали бухать пушки саксонцев и голландцев, предавшихся врагу.

Больше никто не искал ни чинов, ни славы.

Изредка пронеслись озабоченные маршалы. Сам император проехал в карете, и солдаты видели через окошко его бледное и сонное лицо. Усталость шла от самого императора, уснувшего во время Лейпцигской битвы, через маршалов, генералов и офицеров в солдатскую массу и, как тень, опускалась на всю армию.

Военное счастье изменило Наполеону. Легенда о его непобедимости разрушена. Это видели и знали все, кроме него самого. Как азартный игрок, он пытался отыгратья после гибельного русского похода. Чем больше было неудач, тем требовательнее становился император, пытаясь жестокими мерами восстановить дисциплину.

Император приказал маршалу Ожеро отдать под суд капитана 2-го гренадерского полка Вандаля за то, что его рота не выдержала натиска башкирской конницы и в беспорядке отступила, открыв левый фланг полка под Лейпцигом.

Это был ничего не значащий эпизод на фоне общего развала армии, но император ничего не видел. Он продолжал считать Германию своей вотчиной и мысленно снимал и назначал новых королей.

В Майнце, где скопилось несколько десятков тысяч войск всех родов оружия, капитан Вандаль сидел в тюрьме, ожидая решения своей участи. Вместе с ним был арестован барабанщик Жак Сабо, шестнадцатилетний парень из парижского предместья, розовощекий шутник и балагур.

Капитан Вандаль презирал его за то, что этот щенок был отдан под суд вместе с ним, участником Вальми и Жемаппа, Лоди и Монтенотты.

Несчастье было ужасно и непоправимо. Капитан Вандаль давно был бы полковником или генералом, но он был неграмотен. Он с трудом научился подписывать свою фамилию, когда был произведен в лейтенанты.

Сидя на железной тюремной койке, капитан нервно теребил свои большие рыжие усы. На все попытки словоохотливого барабанщика завязать разговор Вандаль отвечал презрительным молчанием.

Капитану было сорок пять лет, и он давно хотел вернуться в родную деревню.

В последние годы он воевал без увлечения, а больше по многолетней привычке. Вернуться домой, потеряв капитанские эполеты и знаки отличия, было для него позором. Но так бы еще полбеды. Могут и расстрелять. Император лично интересовался его делом. Что ему жизнь одного капитана, если речь идет о чести армии!

Проклятый, никому не нужный поход. Бесславье и позор Лейпцига и Ганау после блеска Аустерлица и Маренго.

Стоило уцелеть в огне десятков сражений, чтобы пасть от французских пуль.

Раз император мог уснуть под грохот орудий во время Лейпцигской битвы, он уже не тот. Что общего между этим толстым человеком с опухшим лицом и героем Арколе?

И армия не та. Не воскреснут боевые товарищи, погибшие в снегах России. Нет ни кирасиров Мюрата, ни гусаров Лазалля. Усатые храбрецы давно сложили головы под Москвой, под Красным и в выжженных солнцем горах Испании. Куда годится хилая молодежь, вроде этого щенка Сабо... Сидели бы дома под юбкой, а им ружья дают.

Жак Сабо был настроен значительно веселее своего соседа. Ему было всего шестнадцать лет. Вандаль плюнул – Сабо обернулся.

– Далеко, – сказал он, – до меня не доплюнете. У нас, в Клиши, один бронзирщик плюет, как из пистолета. Шагов на двадцать попадает в цель. Когда вернемся в Париж, я вас с ним познакомлю. Возьмите у него несколько уроков. Совсем по-другому заплюете...

Вандаль не ответил. У него мелькнуло желание придушить щенка, но он понял, что ничего доброго ему это не сулило.

Вандаль лег на койку и закрыл глаза.

В этот день император был очень не в духе. С утра у него были спазмы в желудке, он чувствовал страшное утомление и все время хотел спать.

Целое утро он писал письма в Париж и редактировал военные донесения. В столице не должны были знать об истинном положении вещей. Кончив диктовать, император позвал маршала

Ожеро и спросил его, состоялся ли уже суд над капитаном Вандалем. Он пришел в ярость, когда произнес это имя.

– Грязное животное, – крикнул император, – оплошать в такую минуту. Черт знает что. Этак вся армия завтра начнет бояться этих азиатов... Бить англичан, испанцев, пруссаков и испугаться каких-то башкир... Судить его немедленно, сегодня... Расстрелять этого негодяя!..

Ожеро знал, что возражать бесполезно. Он переглянулся с маршалом Дюроком, и оба улыбнулись глазами. Судить старого боевого солдата в такую минуту было бессмысленной жестокостью. Но у императора в этот день был тусклый взгляд и желто-серый цвет лица. Маршал пошел отдавать распоряжение.

Вандаль проснулся от шума. Открыв глаза, он увидел трех жандармов и офицера.

Барабанщик перестал рисовать и радостно приветствовал гостей:

– Садитесь, – сказал он, – будьте как дома.

– Шутишь, мальчик, – сказал один из жандармов, – а через полчаса плакать будешь. В земле-то сейчас холодно, не лето...

Тут только Сабо услышал глухой стук прикладов о каменный пол камеры и увидел суровые лица жандармов.

Он увидел, как покорно, не говоря ни слова, поднялся капитан. Барабанщик понял, что шутки здесь неуместны, и вдруг почувствовал страх. К горлу подкатился какой-то комок, и из глаз потекли слезы.

– Я ведь ничего не сделал, – сказал Сабо, всхлипывая. – Ничего...

Вандалю стало жалко мальчишку.

– Эх, ты, – сказал он, взяв его за подбородок, – ты забыл, что солдаты второго гренадерского полка не плачут...

Это была первая фраза, услышанная барабанщиком от капитана.

Арестованные стали рядом, между двух жандармов. Один стал позади, а впереди был жандармский офицер, одна из тех тыловых крыс, которых Вандаль ненавидел больше всего на свете.

Суд заседал в огромном мрачном зале городской ратуши. Председательствовал генерал Пелэ. По бокам сидели два полковника,

в одном из которых Вандаль узнал своего командира полка. Лица судей были непроницаемы.

После того как обвиняемые ответили на все формальные вопросы, генерал наклонился к командиру полка и что-то спросил у него. Полковник утвердительно кивнул головой.

– Капитан, – сказал генерал, – это ваша рота участвовала во взятии Шевардинского редута?

– Моя, – коротко сказал Вандаль.

– А под Красным вы прикрывали отход священного эскадрона?

– Да, моя рота в составе одиннадцати человек участвовала в этом деле.

– Расскажите нам покороче, как все это случилось, под Лейпцигом.

– Из-за этого щенка, – сказал капитан, указывая на барабанщика, о котором, казалось, забыли. – Если б не он, рота бы не поддалась бы ни на шаг...

– Как это из-за него? – удивился генерал и, сдвинув брови, посмотрел на Сабо.

Барабанщик похолодел под этим взглядом, и снова противный комок подкатился к горлу.

– Очень просто, – сказал Вандаль, – наш фланг атаковала башкирская конница, вооруженная луками и стрелами, и этот щенок вдруг начал хохотать и рассмешил всю роту. Так это было? Скажи сам!

Капитан потряс барабанщика за плечо.

– Так, – сказал барабанщик, всхлипывая и глотая слезы, – но я не первый рассмеялся. Я только крикнул, что это амуры. Они были очень похожи на амуров... и все начали смеяться, а я уже потом.

При этом воспоминании Сабо перестал плакать и даже улыбнулся сквозь слезы.

Генерал очень нахмурился.

– Ну вот, – сказал Вандаль, – вместо того чтобы стрелять, все стали хохотать, а некоторые от смеха попадали на землю. Рота поддалась. Я хотел ее удержать, но это было невозможно...

– Он сам хохотал, – внезапно крикнул барабанщик, – честное слово – хохотал...

– Вы также смеялись? – спросил генерал.

– Да, – ответил Вандаль.

Генерал хотел еще что-то сказать, но брови его странно изогнулись, он махнул рукой и рассмеялся. Рассмеялись и оба полковника. Суд смеялся в полном составе.

– Ну вот, видите, – крикнул барабанщик, – нельзя было не смеяться...

– Молчать, щенок, – цыкнул на него Вандаль, – тут тебе не поле битвы, а суд!..

Успокоившись, генерал наклонился к полковнику.

– Как вы думаете, – сказал он, – император уже уехал из города?

– Да, – сказал полковник, – его карета проехала мимо окна полчаса тому назад. Он уже далеко. Не меньше, чем в пяти лье отсюда...

Капитан Вандаль и барабанщик Сабо были оправданы.

Тридцать дней. М., 1935, № 7, с. 29-31

Американское наследство

После смерти отца мы поселились в четырехэтажном кирпичном доме на Базарной улице. Из окон нашей квартиры были видны серо-желтые стены соседнего дома. Только из одной комнаты открывался вид на длинный двор, вымощенный серыми квадратами лавы, которую итальянские пароходы компании «Ллойде-Триестино» брали с собой как балласт, когда шли за хлебом в Одессу. Тридцать одинаковых балконов, издали напоминающие клетки для птичек, уставленные всяким скарбом и вечно увешанные бельем, дополняли унылый пейзаж.

Стоило только пробежать несколько кварталов, и через белую арку, на которой было написано французское слово «Ланжерон», мы видели море. Ласковое или бурное, бирюзовое или черное, но всегда одинаково прекрасное. Вот почему одесситы полжизни проводят на улице, всегда веселы и никогда не унывают. И куда бы ни забросила их судьба, они всю жизнь вздыхают, вспоминая о море, и даже из далеких стран часто приезжают на родину умирать.

Но тогда, в чудесный майский день, о котором я хочу рассказать, мне было только десять лет, и я еще не знал цены этим богатствам. Море, и небо, и акации – все это было каждый день и рядом. Не надо было ждать целый год, как теперь, чтобы приехать на месяц к родным берегам. В десятилетнем возрасте мы этого не ценили.

Мы были самыми бедными в этом бедном доме на Базарной улице. У нас не было отца. Старший брат, студент, был репетитором и целый день бегал по урокам. Он должен был содержать семью и потому никогда не мог ходить на Ланжерон, к морю. Я его очень жалел. Иногда по утрам мать советовалась шепотом со старшей сестрой. По их озабоченным лицам я определял, что денег в доме нет. В таких случаях сестра долго бегала по квартирам соседей и приносила одолженный рубль в носовом платке.

Незадолго до происшествия, о котором я хочу рассказать, мы послали письмо в Америку, старшему брату отца, дяде Арию. По слухам, дядя был очень богат, холост и имел большую гостиницу в Бостоне. Мы просили помощи у богатого родственника. Ровно через месяц он прислал заказное письмо, в котором была вложена пятидолларовая бумажка. Из письма мы узнали, что старый холостяк стал активным деятелем какой-то христианской секты. Письмо содержало длинную наставительную сентенцию-проповедь и призывало нас всех к смирению и к покорности воле всевышнего. В конце дядя просил, чтобы его больше не беспокоили.

Вечером того же дня состоялся семейный совет. Мать и старший брат казались очень смущенными.

– Моня, – сказала мама, обращаясь к старшему брату, – как ты думаешь... что делать с деньгами?

Надо сказать, что уже за неделю до этого мы все брали в долг, и уроков у брата не было.

– Я думаю, – сказал брат, – что деньги вместе с проповедью надо отправить обратно...

– Удивительно, до чего они живучие, эти американцы, – сказала мама, – дядя Арий старше папы на пятнадцать лет и еще до Америки у него была астма... Если он умрет, мы все равно получим наследство...

– Вот поэтому и отправим деньги назад, – ответил брат, – ведь в наших же интересах, чтобы наследство не уменьшалось...

Пятидолларовая бумажка поехала в обратный путь, через Атлантический океан, к дяде Арию. На следующий день мать шепталась с сестрой...

С тех пор я стал преступником. Я день и ночь мечтал о смерти дяди Ария. Легенда об американском наследстве не давала мне покоя. Я видел во сне туго перевязанные пачки кредитных билетов, ящики с золотом и драгоценными камнями. Я думал о том, как буду покупать дорогие выпуски приключений Ника Картера по семи копеек и Ната Пинкертон – по пяти. На прочтение я больше брать не буду. Я мечтал о резиновом «Дьябло» и колесных коньках, выставленных в игрушечном магазине Колпакчи. Я расспрашивал людей, опасная ли болезнь астма и скоро ли от нее умирают. Я жил миражом будущих богатств. И вот однажды, когда на тротуаре возле ворот я погонял «бабу», ко мне подбежала Ривка, «мамка» старшего брата, прожившая в нашей семье много лет.

– Иди скорей наверх, – причитала она сквозь слезы, – скорей наверх... мама зовет. Такое несчастье, такое несчастье... дядя Арий умер...

Ривка была добрая женщина, и смерть даже абсолютно незнакомого человека причиняла ей душевное страдание. Словом, наши точки зрения на события в Бостоне в этот день не совпали. Одним духом взмыл я на четвертый этаж.

Наконец-то все, о чем я мечтал, станет действительностью...

– Одевай новый костюм, – сказала мама, – умойся и причешись... Нас вызывают к консулу по делу о получении наследства. У нас большое горе – умер наш дядя Арий.

Когда мы спустились вниз, во дворе было большое оживление. Соседи стояли группами, обсуждая событие и возможный размер состояния дяди. Весть об американском наследстве проникла во все уголки дома.

Мама плыла степенной походкой между нами, отвечая на поклоны.

Как бы то ни было, в утро этого майского дня мы вышли из ворот дома на Базарной улице миллионерами.

Мне казалось, что все прохожие оборачиваются и смотрят на нас и что весь город уже знает о наследстве. Когда мы проходили мимо игрушечного магазина Колпакчи, я увидел в окно резиновое «Дьябло» и колесные коньки. Завтра завеса этого таинственного и недоступного мира должна была упасть. Я куплю еще стальной лук и ружье, стреляющее палочкой с резинкой.

Колпакчи сменили роскошные витрины «Абрикосова с сыновьями», где банки замечательного варенья сверкали драгоценными рубинами, стояли торты, чудо кондитерского и скульптурного искусства, и лежали горы конфет. Через несколько дней все это будет моим, потому что мы будем богаты...

Замечтавшись, я не заметил, как мы подошли к заветной двери американского консульства. Великолепный швейцар впустил нас в приемную. Высокий выхоленный секретарь, узнав, в чем дело, очень вежливо на ломаном русском языке просил нас подождать. Какие это были томительные минуты, но что они стоили в сравнении с долгими днями ожидания!

Но вот открылась высокая дубовая дверь, и нас пригласили. Зрелище, которое мы увидели, было ослепительно. Огромный резной письменный стол был уставлен сверкающей бронзой и мрамором. По углам комнаты стояли фигуры рыцарей в железных латах. Наши ноги приросли к полу, и мы остановились посреди комнаты всей семьей. Мама посредине и мы, дети, по бокам. Сам консул стоял, как изваяние, на каком-то возвышении, затянутый в длинный черный сюртук. У него было лицо Авраама Линкольна, и из-под седых бровей смотрели пронизательные серые глаза. За спиной его во всю стену висело американское знамя. Ответив на приветствие, консул взял у секретаря бумагу, завернутую в трубку, и развернул ее. Большая сургучная печать на ленте качалась, как маятник. Консул долго читал завещание. Мы не поняли ни одного слова. Окончив чтение, он протянул бумагу секретарю, поклонился и вышел. Секретарь пригласил нас к бюро. Он повернул ключ, и крышка с грохотом повалилась вниз. Он раскрыл какую-то книгу и попросил маму расписаться. Затем секретарь положил на стол пять бумажек по пять долларов и маленькую книжку в синем переплете с золотым крестом.

– Как? – только и сказала мама.

– Мистер Гарри Уайтмен, – сказал секретарь, вежливо кланяясь (дядя в Америке переменял фамилию), – оставит все состояния методическа христианска общин город Бостон. Вас, как очень бедны, он завещал двадцать пять доллар и... Библия...

В этот день я понял, что с астмой можно долго жить и что нечего надеяться на американское наследство.

Тридцать дней. М., 1936, № 1, с. 30-32

